

Д.Н. МАМИН
СИБИРЯК



Сибирские рассказы

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Авва

«Public Domain»

1884

Мамин-Сибиряк Д. Н.

Авва / Д. Н. Мамин-Сибиряк — «Public Domain»,
1884 — (Сибирские рассказы)

Изображенные в очерке картины жизни духовенства, сравнительно редкие в творчестве Мамина-Сибиряка, свидетельствуют о хорошем знании писателем быта этой среды. Образ отца Андроника и самый конфликт представителя старого духовенства с новым намечены в очерке Мамина-Сибиряка «Сестры» (1881), но очерк не был опубликован при жизни писателя.

Содержание

I	5
II	13
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Авва

Очерк

I

– А у нас, дева, поп новый... – докладывала мне Фатевна, разбитная заводская прасолка. – Совсем еще молоденький, а такой, Христос с ним...

– Какой?

– Спроси у Андроника, какой... Он тебе скажет!..

Фатевна поправила сбившийся на груди длинный передник и загадочно хихикнула себе в нос. Очевидно, Фатевне хотелось продолжать начатый разговор, и она нерешительно переминалась с ноги на ногу, ожидая реплики. Толстая, коренастая, точно сколоченная фигура Фатевны так и дышала той изворотливостью и неугомонной суетой, какие присущи всем мелким торговкам, промышленяющим всякую малость одним собственным трудом. Особенно характерно было лицо Фатевны: рябое, морщинистое, с широким ртом, орлиным носом и серыми ястребиными глазками. Она умела все на свете видеть «наскрозь» и резала своим языком хуже ножа. В своем ситцевом сарафане, розовой ситцевой рубашке, в козловых мягких башмаках «ступнях» и в какой-то мудреной повязке на голове, Фатевна выглядела настоящей бой-бабой, которой пальца в рот не клади. Говорила она скоро, бормотком, точно сухой горох сыпала, и в такт сыпавшимся словам сильно размахивала своими длинными руками; особенно интересно умела Фатевна повертываться на одном месте стопочкой, точно деревянная кукла на пружине. Впрочем, повертывалась она так только в хорошем расположении духа, а когда сорилась со своей квартиранткой Глафирой, ограничивалась только движениями одной головы, которую совсем почти повертывала назад, как это делают хищные птицы. К числу особенностей Фатевны принадлежала привычка всем без различия говорить «дева». Теперь, пока я пил чай, Фатевна подробно «отлепортовала» о новом священнике, который, очевидно, сильно ее занимал.

– Ничего, он оборотистый, дева, – заключила свою речь Фатевна, разводя руками, точно сновала пряжу. – Не чета Андронику-то... Только будто у Андроника денег много, а так, ежели его взять, так все равно, что мешок с травой – ничего он не стоит.

– Что, видно, поссорились опять с Андроником-то?

– Я!.. Ох, и не говори!.. Один только грех, дева, с этим Андроником. Прямо сказать... А на его-то деньги мне плевать!.. Мое дело женское, каждую копеечку из-под ноготка добываешь, а и то с поклоном к Андронику не пойду... Вот ужо подведет ему животы новый-то. Его отцом Егором звать... Ну, я распустила с тобой басни-то, а ты, поди, есть хочешь?

– Пожалуй...

– Постный день-то сегодня, плохая у нас еда. Разе вот пирог с грибами немножко отдохнет, так его тебе подать?..

– Ничего и пирог...

Фатевна повернулась стопочкой и поплыла к выходу; ходила она, по своей толщине, с легким перевальцем, как ходят маленькие дети.

– А ты пойдешь к имям? – спросила Фатевна, останавливаясь в дверях.

– К кому это?

– Обнакновенно к кому: к попу Андронику...

– Да ведь Андроник один...

– Ну, а дьячок Паньша, учитель Краснопевцев, – ведь они и днюют и ночуют у Андроника. И по улице так гнездом и ходят... Учитель у нас недавно, почитай вместе с отцом Егором приехал, а водку пить – так и хлещет, так и хлещет. Как-то идут мимо нас, то есть Паньша с учителем, а Глафира увидела их в окошко и говорит: «Вот, говорит, бредут две глисты». Ей-богу, дева!.. У Глафиры в зубах не завязнет...

– Мамынька, где ты запропастилась? – послышался в сенях звонкий голос единственной дочери Фатевны, Феклисты.

– Иду, иду... Эк тебя взяло!.. Так я тебе пирога подам, не обессудь на нашей простоте.

Бывая в Мугайском заводе, я всегда останавливаюсь в опалубленном домике Фатевны не потому, чтобы сама Фатевна или ее дом мне особенно нравились, а просто по старой привычке: остановился раз, а там и пошло. Да и выбирать, собственно, было не из чего: или на земскую квартиру, или к Фатёвне. Я из двух зол предпочитал последнее, потому что на земской квартире уж слишком было неприглядно.

Как по наружному виду, так и по внутреннему устройству домик Фатевны служил характерным дополнением своей бойкой хозяйки. Он стоял на высоком берегу заводского пруда, на самом углу улицы, и так сыто поглядывал кругом своими пятью окнами!.. Железная крыша, беленые трубы, раскрашенные зеленой краской ставни и ряд хозяйственных пристроек придавали ему типичный вид купеческой архитектуры средней руки. Такие палубленные стены, расписные ставни, крепкие ворота и железные крыши точно отмечают накопившееся среди остальной заводской гольтубы плотное довольство тех счастливых, которые успели выделиться из остальной человеческой массы и вполне утвердились на своей линии. В таких крепких домах и живут крепко, превращая отдельные дни в кольца какой-то железной цепи, которая не порвется и всегда постоит за себя.

Внутри дом Фатевны был устроен замечательно, в том отношении, что в нем, точно со специальной целью, были сгруппированы всевозможные неудобства, какие только можно придумать. Всех комнат было четыре, пятая кухня, но они были так расположены, что, собственно, не было ни одной отдельной комнаты, а все были проходные, так что составляли что-то вроде широкого коридора, разделенного перегородками с дверями. Жить в общечеловеческом смысле в таких покоях не было никакой физической возможности, потому что и строились и убирались они преимущественно «на случай гостей». Эти гости были чем-то вроде пункта помешательства для Фатевны, и она лезла из кожи, чтобы не ударить в грязь лицом. С этой нарочитой целью везде были разостланы чистые половики домашней работы, на окнах развешены кисейные занавеси с бахромками, на подоконниках расставлены мещанские цветы – петухи, герани, красный перец и т. д. Мебель, состоявшая из расклеившихся ломберных столов, подержанных венских стульев, приобретенных по случаю двух диванов, обитых пестрым ситцем и жестких, как чугунные плиты, и парадной двухспальной постели, на которой сама Фатевна никогда не спала, – эта мебель являлась жалким сколком с купеческой городской роскоши и наводила тоску на свежего человека своим бесприютным видом, точно здесь был собран музей самых неудобных вещей для домашнего обихода. Прибавьте к этому, что все наружные стены дома были изрублены окнами, а внутренние – дверями, так что, собственно говоря, негде было поставить кровати. Я устраивался обыкновенно на одном диване, который стоял под тремя окнами, что зимой было особенно неудобно и с чем приходилось все-таки мириться, чтобы не ложиться головой к наружной двери, а ногами к печи.

Мне обыкновенно приходилось проводить в Мугайском заводе всего несколько дней, и Фатевна с удовольствием уступала мне свои парадные горницы, вероятно, желая блеснуть своей обстановкой пред заезжим человеком, который лучше других мог оценить все достоинства ее горниц. Сама Фатевна перебивалась с мужем Денисычем и косоглазой дочерью Феклистой в темной и холодной «куфне», где всегда было сыро и пахло гнилью, а зимой холодно, как в погребке. Чтобы не нарушать великолепия парадных горниц, Фатевна спала даже зимой

на полу кухни, под тремя шубами, уступая печку Денисычу, а полати – Феклисте. Благодаря таким условиям Фатевна целую зиму маялась то зубами, то поясницей, то животом, то головой, но я уверен, что в ее трещавшей от угара, холода, сырости и сквозного ветра голове ни разу не мелькнула мысль о возможности занять хоть на время одну из горниц.

– А гости навернутся?! – с ужасом объяснила мне Фатевна, когда однажды я намекнул ей на такую возможность. – Што ты, што ты, дева... Устраивала-устраивала, налаживаланалаживала горницы, а тут стану сама же их срамить. Экое ты слово вымолвил, дева!..

– Хуже постоянно хворать, Фатевна, а неровен час и богу душу отдашь, а горницы останутся.

– И пусть останутся, Феклиста будет жить... А што насчет смерти, дева, так ты это даже совсем напрасно: вон наша Глафира скрипит, а я против нее еще верба вербой. Это господа придумали разные простуды, а мы и так износим.

В ожидании, пока пирог с грибами «отдохнет», я разрешил почти математическую задачу, вроде четвертого измерения, как устроиться со своими пожитками в средней горнице, на неумолимо жестком диване, точно набитом бульжником. Главное неудобство моей позиции заключалось, во-первых, в том, что вечером, при огне, в моей комнате было все видно, как в фонаре, потому что парадных занавесок опускать не полагалось; во-вторых, косая Феклиста имела привычку шмыгать через все комнаты как раз в те моменты, когда только начнешь раздеваться или одеваться. Время было летнее, самый полдень; с улицы так и тянуло тяжелым зноем, самовар погас и только изредка пускал одну протяжную пискливую нотку, точно удушенный. Разместив свои пожитки частью под гостеприимный диван, частью в угол, я с удовольствием мечтал после «отдохнувшего» пирога вздремнуть где-нибудь в прохладном местечке, но это благочестивое желание было нарушено криками и руганью, которые донеслись со двора. Я распахнул окно на двор.

– Вон он, барин-то... Он все слышит! – голосил знакомый мне голос Глафиры, которая сидела на приступке подсарайной, с чулком в руках.

– И пусть слышит!.. – азартно отвечала Фатевна, выступая по двору фертом и даже поставив руки в боки. – А ты все-таки живая боль... Чего размыргалась, как ворона перед ненастьем?

– И ты хороша, сухая мозоль, – отвечала Глафира, стараясь выдержать незлобный тон. – Ровно бы тебе, Фатевна, и помолчать пора. Правду, видно, говорят, что бабье серсо¹ как худой горшок, – все бренчит. Ты бы хоть чужих-то людей постыдилась. Своя дочь на возрасте, а девисе разве пристало твои непогожие речи слушать?

Слабым местом Фатевны была ее «девिसа» Феклиста, которая из-за своего косоного глаза совсем «зачичеревела» в девках, что родительскому сердцу Фатевны было особенно при-скорбно. В крайних случаях Глафира умела именно с этой стороны напасть на Фатевну, и последняя лезла на стену, стараясь, в свою очередь, отзолотить злыдню Глафирку на все корки. Теперь, когда барин в окошко все видел и слышал, отношения воюющих сторон обострились в высшей степени и перешли в настоящее ратоборство. Посыпалась обоюдная брань. Фатевна в азарте даже бросала щепами в своего врага, а Глафира плевала в нее, хотя щепы и плевки и не достигали своих конечных целей. Закончилась эта ссора тем, что обе стороны, устав ругаться, обратились к моему третейскому суду, причем старались перекричать друг друга, так что понять в этой сумятице решительно ничего нельзя было, хотя по особенно частому упоминанию имени Феклисты и можно было догадаться, что дело вышло из-за нее.

– Мамынька, пирог-то отдохнул!.. – крикнула Феклиста, появляясь на крыльце в подтыканном ситцевом сарафане.

¹ К особенностям заводского говора на Урале принадлежит смягчение «ц» в «с», так что говорят: серсо вместо сердце, сар вместо царь, девиса, рукавасы и т. А-(Прим. Д. Н. Мамин-Сибиряка.)

– Ах, я дура!.. – обругала себя Фатевна, направляясь к «куфне». – Простудила совсем пирог-то из-за этой злыдни...

– Ступай, ступай, воевода... – поддразнивала Глафира, хихикая коротким смешком, причем закрывала свой рот широкой костлявой ладонью. – По словам, как по лестнице, ходишь, а барин с голоду умирай...

Фатевна, занеся ногу на приступок крыльца, остановилась и, обернувшись назад, каким-то неестественно высоким голосом закричала:

– А ты, моль, уходи от меня!.. Слышишь? Чтобы и духу твоего не было у меня в дому!

– И уйду... сейчас уйду!.. Испугала, подумаешь, своим-то домом, да я... Важное кушанье: плюнуть и растереть нечего.

– Моль, моль, моль!..

Конечно, вся эта сцена была самым невинным упражнением в красноречии, чтобы убедить барина и весь свет, какая ведьма эта Фатевна и какая злыдня Глафирка. Стороны, взывая к моему третейскому нелицеприятному суду, конечно, рассчитывали каждая исключительно в свою пользу. Невинными свидетелями происходившего ратоборства, кроме меня, были две копавшиеся в мусоре курицы, шарашившийся на длинной привязи теленок, лаявшая на воздух цепная собака Соболь, Денисыч, запрягавший под навесом лошадь, и девица Феклиста, гремевшая в кухне посудой. Денисыч, сутулый и низенький мужик в пестрорядевой рубашке и таких же портах, в развалившихся сапогах и рваной шляпенке, меньше всего походил на то, чем должен был бы быть муж Фатевны. Он сильно смахивал на одного из тех кухонных мужиков, каких можно встретить где-нибудь на черной лестнице большого столичного дома. Впрочем, в доме Фатевны он и выполнял роль такого кухонного мужика. Какое-то полинялое лицо, мочальная бороденка, вялые движения, апатичный, мрачный взгляд – все говорило не в пользу Денисыча. Народ зовет таких мужиков мусорными. Заложив лошадь и поплевав на руки, Денисыч постоял около телеги минут пять, потом почесал в затылке и, передвинув свою шляпенку с уха на ухо, в прежнем раздумье вяло побрел в кухню, вероятно, с слабой надеждой, не перепадет ли и на его долю «отдохнувшего пирога». На дворе, залитом ярким июльским солнцем, осталась теперь одна Глафира. Зевнув устало несколько раз в свою костлявую руку, она посмотрела на кухню и неожиданно запричитала тоненьким плаксивым голосом, точно ее придавили:

– Сирота-а я горемычная!;. Нету у меня батюшки-заступничка, матушки-заботушки! Некому за меня заступиться!.. Оххо-хо!.. Хоть бы умереть от этой каторжной жисти! Вон она, эта ведьма, как меня собачила!.. Дом у ней, слышь, так ступай из дому! И уйду... У покойного тятеньки какой дом был, – почище этого в сто раз, да и то не хвастался. Собака, эта Фатевна, настоящая ценная собака... И уйду, непременно уйду... Попадья отца Егора давно меня смаливает – и уйду к ней. Ох, я сирота беззащитная, горе-горькая сиротинушка!.. У Фатевны-то у самой дочь вон какое косое дерево уродилось.

Глафире давно было за сорок; по общественному положению она была христовой невестой, потому что уродилась такой длинной и нескладной вислятью, что ни один жених не решился вступить с ней в закон. Точно вытянутая фигура Глафиры поражала своей непропорциональностью, и общая костлявость делала ее совсем безобразной. Длинные руки висели безжизненно; двигалась Глафира на своих длинных ногах с таким неуверенным видом, точно они у ней были отморожены, или под тощими складками безжизненно болтавшейся на ней шерстяной юбки были деревянные ходули вместо ног. Длинное, желтое лицо Глафиры было покрыто мелкими морщинами, большой рот открывал два ряда гнилых зубов, которые она напрасно старалась закрыть своей костлявой рукой, жидкие темные волосики на вдавленных по-щучьи висках точно были прилизаны; вообще эта почтенная девственница отличалась большим безобразием, и только наступившая старость придавала ей известную долю благообразности, скрывая своими морщинами пороки и недостатки. Только крошечные голубенькие глаза,

как две незабудки, смотрели всегда так любовно и с насмешливым добродушным огоньком, да большой, некрасивый рот улыбался точно что-то спрашивавшей застенчивой улыбкой, какой умеют улыбаться все русские божьи люди. Голос у Глафиры был слабый, чахоточный, но он так хорошо переливался, точно ручеек бежит, так что хотелось его слушать без конца. В самом тоне было что-то такое безобидное, успокаивающее. Так умеют говорить старые няни, няни по призванию, которые заговаривают самых беспокойных ребят, когда те капризничают и купорятся перед сном. Я любил слушать, как говорила Глафира, особенно, когда она что-нибудь рассказывала, – она умела схватить самые типичные особенности людей и особенно их слабые стороны.

К числу особенностей этой христовой невесты, между прочим, принадлежала способность сочинять стихи, вернее, складывать, потому что грамоты Глафира почти не знала. Сюжеты она выбирала из текущей действительности, причем ее недругам перепало на долю немало злых сарказмов. Где училась Глафира этому искусству и как научилась, трудно сказать; в ней, может быть, сказывалась та поэтическая жилка чисто народного склада, посредством которой создавались все народные песни, сказки, притчи, былины и сказания. В данном случае дар богов разменивался на слишком мелкую монету...

Потрапезовав пирогом с грибами, я только прилег на диван немножко отдохнуть после дороги, как в мою комнату неслышными монашескими шагами вошла Глафира. Она таинственно огляделась по сторонам и, убедившись, что засады нигде нет, потом заговорила:

– А ведь я вам, надо полагать, помешала? Тятенька-покойничек всегда, бывало, как закусит пирожком, сейчас на лежанку – теплая у нас такая была лежанка – и отдернет часик-другой... Я уж лучше уйду, а вы отдыхайте.

– Нет, садитесь... Что давеча не приходили чай пить?

– Ох, уж до чаев ли нам!.. Слышали, как даве Фатевна-то меня золотила? Уж она меня и так и этак... А мое дело сиротское... да...

Глафира каким-то деревянным жестом закрыла своей костлявой рукой глаза и тихонько захныкала; между пальцами у ней посыпались мелкие старческие слезки, падая на бутылочного цвета полинялое шерстяное платье.

– Да о чем вы ссорились с Фатевной? – спросил я, чтобы прервать наступившую тяжелую паузу. – Садитесь, пожалуйста.

Глафира присела на кончик стула, неторопливо высморкалась в кончик клетчатого платочка и, смахнув им же слезы и еще раз оглянувшись кругом, таинственно заговорила:

– Съела она меня, Фатевна-то, поедом съела, как пила день и ночь пилит... Со свету сживает. Просто проходу нет... И из-за чего?.. Просто головушки не приложу...

– Да давеча-то о чем вы ссорились?

– Давеча-то?.. Долго это вам рассказывать будет, да и рассказывать-то, пожалуй, не о чем. Просто Фатевна бесится, как псица другая...

При последних словах Глафира улыбнулась сквозь дрожавшие еще на ресницах слезы и, поправив концы шерстяного платка, которым была повязана у ней голова, заговорила тем особенным тягучим речитативом, каким умеют говорить только странники, разные божьи люди и особенно сказатели раскольничьих стихов.

– Нас с Фатевной и судить – так не рассудить, сударь, ежели по-настоящему все рассказывать-то, а так, к слову пришлось, так уж обскажу вам... Учитель к нам в Мугай новый приехал, Пом пей Агафонич Краснопевцев. Слышали? Уж успела Фатевна отлепортовать... Этакое жало змеиное, подумаешь! Ну, так я про учителя-то начала... Из-за него, собственно, все и дело у нас вышло. Парень он молодой, холостой. Из себя-то не то, чтобы уж очень завидный, ну, а которая девиса зачичеревела, так ей даже очень интересно и за такого мужа выскочить. Все же как-никак мужчинка, хоть и пьет он... От попа Андроника не выходит, так там живмя и живет: Паньша да он. Хорошо. А как приехал учитель к нам в Мугай, поискал, поискал фатеры,

да, не хуже – не лучше, к Фатевне на хлебы и стань... Я еще подивилась тогда, зачем она его пустила: какая от учителя корысть ей, ежели он, можно сказать, одной водкой живет, а тут и вышло, что Фатевнато похитрее нас всех будет. Она ведь его чуть-чуть не женила на своем косом-то дереве, на Феклисте... Ей-богу!.. И бессовестная же эта Фатевна... Ведь совсем загубила бы парня. Помпей тепер убирал бы навоз да чистил конюшни у Фатевны, ежели бы не я. Грешный человек, пожалела я его и расстроила все дело... Ну, натурально, Помпей-то, как очнулся, чуть мне не в ноги, а потом уж... И рассказывать-то даже неприятно! Этот же самый Помпей большие мне неприятности делает, потому, не поя, не кормя, ворога не наживешь. За мое то добро Помпей на меня же и остребенился. Ей-богу!.. Он в церкви поет со своими парнишками, и ничего, хорошо поет. Как-то, этак в великом Посту, сидим мы на именинах у Ивана Прохорыча, у надзирателя... служащие, духовные, старшина. Хорошо. Только Помпей подходит ко мне, а сам уже за галстук успел налить, подходит и говорит: «А ты, – говорит, – Глафира Марковна, – так и тычет меня, – ты, – говорит, – зачем про меня да про косую Феклисту стихи написала?» И пошел и пошел... Смешно так говорит, все хохочут, мне совестно, а он: «Вот ты, Глафира, умрешь скоро, так мы тебя отпевать с вершка будем... За каждый вершок отдельно плати, потому у тебя рост вон какой!» Очень он тогда меня сконфузил...

– А стихи-то вы про него все-таки написали?

– Вот даже несколько не писала. Хоть сейчас икону сниму! Про Фатевну действительно составила стишок, да еще про Андроника, ну, тут и про Помпея будто помянула немножко. А Помпей-то ничего бы и не знал, ежели бы его поп Андроник не настроил. Случай тут маленький вышел... Смешно и рассказывать-то!

Глафира перевела дух и улыбнулась.

– Какой же случай-то, Глафира Марковна?

– Да так, пустяки... Я и про Андроника-то не писала ничего, а только про Фатевну, ну, а Андроника покажись это обидно, вот он и напустил на меня и Помпея и Панышу. Напьются у Андроника да ночью – к нашему дому... У Паныпи вон какая пасть-то, как заорет: «...и сотвори рабе твоей Глафире вечную память...», – а потом вдвоем и затянут: «Вечная память...» К старшине ходила уж жаловаться на них, потому житья мне не стало от них. Хорошо... Так вот, я про случай-то начала вам рассказывать... Лошадник ведь Андроник-то у нас, страшный лошадник. И была у него вороная кобылка, грива на левую сторону и копыта стаканчиками. Мягкие у ней были копытцы-то, не больно важные, ну, а бегала она ничего – как следует лошади. Ну, и приглянулась эта самая кобылка нашей Фатевне, а уж ей, что приглянется, вынь да положь. Ведь обошла она попа Андроника, кругом обошла... Тот совсем и не думал лошади продавать, а тут спустил ее Фатевне за пятьдесят целковых. Хорошо. Привела Фатевна лошадь, сгоняла на ней два раза в город, а потом и продала ее новому нашему попу, отцу Георгию, за сто целковеньких. Ей-богу... При мне и продавала. Чистый цыган, куда, и цыгану не сделать супротив Фатевны! Приведет это попу к себе и давай представляться с своей кобылкой: под брюхом у ней пролезает, верхом гоняет... Ну, и продала! А попу-то Андроника это вдвойне обидно, потому пятьдесят целковых, первое, жаль, а второе, на его же кобылке тепер отец Георгий по всему заводу разъезжает. А у них щромежду собой контры выходят: сильно рознят. Ну, я все это и описала про Фатевну да еще прибавила, как она дочь свою хотела выдать за Помпея... На меня все и накинудись. Из-за этого самого и сегодня Фатевна лаялась на меня. А мне что: все равно я уйду от нее, хоть она озолоти меня, не останусь...

В каких-нибудь полчаса Глафира высыпала все мугайские новости, которых было очень немного: назначили в Мугай нового управителя, какого-то француза; сгорел дом у бухгалтера, поймали весной у бучила щуку в полтора аршина, поп Андроник чуть не утонул вместе с учителем и Панышей и т. д. Рассказывала она все с мельчайшими подробностями, как умеют рассказывать только самые записные сплетницы. Меня всегда удивляли аналитические особенности Глафириных мозгов, потому что в ее маленькой головке все впечатления действительности

переваривались с той отчетливой тонкостью, с какой идут только химические реакции. Этот оригинальный ум работал, как серная кислота, разлагая беспощадным образом все, что попадало под руку. Между прочим, с ловкостью настоящего дипломата Глафира осведомилась, надолго ли я приехал в Мугай и зачем.

– Наболтала я у вас с три короба, – заговорила Глафира, поднимаясь с места. – Уж извините, пожалуйста... Поговорила с чужим-то человеком – все же на сердце легче. Не привыкла я к мужицкому-то обращению, как Фатевна, вот меня и тянет к вам... Если бы покойничек тятенька был жив, да я и смотреть-то на это змеиное жало не стала бы, на Фатевну-то.

Между Фатевной и Глафирой существовала какая-то почти органическая ненависть, которая проявлялась в самых ярких и крикливых формах, а между тем эти две женщины жили под одной кровлей не один десяток лет, мало этого, кажется, даже не могли существовать одна без другой. Что их связывало, трудно сказать, но эта невозможная комбинация продолжала существовать, как существует многое другое на белом свете. Глафира происходила из обедневшего управительского рода, кажется, имела маленький капиталчик про черный день и существовала исключительно работой собственных рук. Занимая крошечную каморку где-то в подсарайной² она вечно возилась с полосами ситца и других материй, из которых выкраивала заводским щеголихам самые модные фасоны. В своей специальности Глафира настолько «наварлыжилась», что могла существовать вполне безбедно, конечно, пока бог грехам терпит, потому что вечно у ней что-нибудь болело, и она вечно лечилась по всевозможным рецептам. В ее лице сгруппировались всевозможные болезни, какие только в состоянии придумать медицина, и, по всей вероятности, Глафира давно отошла бы в селения праведных, если бы ее не поддерживала упорная и ожесточенная борьба с Фатевной, которая бодрила и крепила ее лучше всевозможных лекарств.

Фатевна являлась полной противоположностью Глафиры, как типичная представительница разбитной, проворной заводской бабы, которая сумела не только выбиться из остальной заводской босоты и наготы, а, поднявшись на известную экономическую высоту, отвоевала себе совершенно особенное место в природе. Она вела небольшую торговлишку, торговала всяким товаром, какой подвертывался под руку за сходную цену: зимой – хлебом, осенью – крестьянским товаром, в Петровки – косами-литовками и т. д. Особой специальностью Фатевны была торговля лошадьми, вернее, барышничество, потому что она чаще меняла их с непременною придачей. За лошадьми она ездила на конные ярмарки, сама выбирала из пригонных киргизских табунов подходящих скотов, сама объезжала их, а потом неизменно сбывала их какому-нибудь хорошему человеку, каких у ней было по заводам целая «пропасть». Кроме этого, Фатевна брала на себя всевозможные комиссии, и брала часто не из расчета, а просто из любви к искусству: понадобилось жене плотинного, переменить пеструю корову непременно на бурую – сейчас к Фатевне; у французауправителя для ребенка искали дойную козу – и тут без Фатевны дело не обошлось; достать лесу, обрядить невесту, найти писаря в волость – все это Фатевна орудовала в лучшем виде, как никто другой. У себя дома она решила «женский вопрос» по-своему и держала Денисыча совсем в черном теле, предоставив ему самую тяжелую домашнюю работу, в то время, как сама разъезжала по ярмаркам, покупала, меняла, объезжала лошадей и вечно что-нибудь промышляла и гоношила. Нужно, однако, оговориться: по праздникам, когда Денисыч успевал где-нибудь напиться, он вдруг начинал чувствовать себя настоящим, заправским мужем, бушевал, ругался и даже колотил Фатевну чем попадя. В таких исключительных случаях Фатевна принималась неистово голосить и, простоволосая и с испарянным лицом, выбегала на улицу, поднимая на ноги всю ее. Денисыча связывали, умирляли

² У зажиточных заводских обывателей в службах, под сараем, обыкновенно выделяется горенка на всякий случай, где проживает прислуга или кто-нибудь из дальней бедной родни: такие горенки называются подсарайными. (Прим. Д. Н. Мамин-Сибиряка)

домашними средствами, и этот примерный муж опять вез свой воз как ни в чем не бывало. Меня всегда удивляло поведение Фатевны с пьяным мужем, которого она непременно задирала, точно сама напрашивалась на побои. Может быть, в этом случае Фатевна только платила известную дань своему все-таки бабьему положению и хоть «на час места» желала быть такой же бабой, как все другие заводские бабы: ей нравилось дразнить пьяного Денисыча, чтобы потом поголосить вдоволь на улице.

– Да ведь он мне муж, дева! – объяснила однажды Фатевна эту аномалию в своей жизни.

II

Из окон дома Фатевны открывался великолепный вид на Мугайский завод, главным образом на ту его часть, которая расположилась по берегам заводского пруда. Домик Фатевны стоял на береговом угоре, недалеко от заводской плотины. Таких заводов, как Мугайский, по восточному склону Урала рассыпано несколько десятков, и все они походят один на другой в общих чертах с той разницей, какую вносит природа: на юге и на севере Урала горы выше и живописнее, а в средней части представляют только большой величины холмы, разбросанные по зеленому простору, без всякого плана и порядка, как высыпанные из мешка ковриги хлеба. Горы, окружавшие Мугайский завод, или попросту Мугай, были невысоки и сплошь покрыты вечнозелеными ельниками; вдали, повитые синеватой мглой, они кучились, как темные гроззовые облака, выплывавшие изза горизонта круглившимися линиями. Широкая полоса заводского пруда вдавалась между горами широким светлым языком; по берегам пруда заводские домики выровнялись в правильные линии, образуя широкие, убитые заводским шлаком улицы. Можно было пожалеть только об одном, что заводские дома выходили на пруд, большею частью своими задворками и огородами, за небольшим числом исключений, вроде домика Фатевны. Если бы повернуть все дома фасадом к пруду, вид на завод много выиграл бы относительно красоты общего вида, но русский человек как-то меньше всего заботится о такой красоте. Другим недостатком постройки являлось полное отсутствие садов. Панорама жилья поражала своим голым видом; только два – три кедрика одиноко торчали кое-где в огородах, как позабытые смертью инвалиды. Крайние постройки отделяла от леса неширокая полоса пашен и кулиг.³ Особенно хорош был вид на Мугай рано утром, когда весь пруд еще дымился туманом.

Заводские домики, по своей архитектуре, представляли нечто среднее между городскими постройками и деревенскими избами, вернее сказать, здесь перемешались и те и другие. Как особенность местной архитектуры можно отметить только обычай крыть дворы наглухо. В лесной полосе России, где нашел себе приют раскол, большинство домов выстроено таким образом, что объясняется, раз – обилием строительного лесного материала, а второе – исторически сложившейся привычкой жить «усторожливо». Каждый двор представляет собой небольшую деревянную крепостцу, попасть в которую непрошенному гостю очень трудно; так строится каждый справный мужик, хотя особенной нужды в таких усторожливых постройках и не имеется. Непривычному человеку даже неприятно, отворив ворота, попадать в кромешную тьму, где долго глаз не может отыскать отдельные предметы.

³ Кулигами на Урале называют огороженные пряслом – изгородью – покосы. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.